

Два лагеря теоретиков (по поводу «Дня» и кой-чего другого)

<...> Западники, составив себе теорию западноевропейской общечеловеческой жизни и встретясь с вовсе непохожей на нее русской жизнью, заранее осудили эту жизнь. Славянофилы, приняв за норму старый московский идеальчик, *тоже зараз* осудили в русской жизни всё, что не укладывалось в их узкую рамку. Иначе, конечно, и быть не может. Раз положенное ложное начало ведет к самым ложным заключениям, потому что теория любит последовательность. Раз положенное узкое, одностороннее начало непременно, по той же самой последовательности теории, поведет к отрицанию тех сторон жизни, которые противоречат принятому принципу.

Но в том-то, пожалуй, и заслуга теоретиков, что они в иных случаях слишком последовательны и не боятся никаких заключений... Одна фаланга нынешних теоретиков не только отрицает существование русского земства, не признает его началом, которое должно жить, но просто отрицает в самом принципе народность¹. Мы не станем слишком подробно разбирать мнение этой фаланги, потому что это отняло бы у нас слишком много времени и места, а главное, потому, что теория эта слишком узка и поверхностна, да и стара тоже. Еще у Шиллера маркиз Поза мечтает о космополитизме². Относительно предмета, который нас занимает теперь, она не выдерживает в наше время критики, и мы ограничимся о ней несколькими словами.

«Наш идеал, — говорит один лагерь теоретиков, — характеризуется общечеловеческими свойствами. Нам нужен человек, который был бы везде один и тот же — в Германии ли то, в Англии или во Франции, который воплощал бы в себе тот общий тип человека, какой выработался на Западе. Всё, что приобретено им общечеловеческого, смело давайте всякому другому народу, вносите общечеловеческие элементы во всякую среду, какова бы она ни была. К чему тут толки о почве, с которой будто бы нужно справляться, при усвоении ей начал, выработанных другим народом?» Таким образом, из всего человечества, из всех народов теоретики хотят сделать нечто весьма безличное, которое во всех бы странах земного шара, при всех различных климатических и исторических условиях, оставалось бы одним и тем же... Задача тут, как видно, широкая, и цель высокая... Жаль только, что не в широте задачи и высоте цели тут дело. Нам бы сильно хотелось, если б кто-нибудь из этого рода теоретиков решил бы следующие во-

просы: точно ли выиграет много человечество, когда каждый народ будет представлять из себя какой-то стертый грош и какая именно будет оттого польза? Пусть кто-нибудь из теоретиков укажет нам тот общечеловеческий идеал, который выработать из себя должна всякая личность. Целое человечество еще не выработало такого идеала, потому что образование, собственно, только в какой-нибудь двадцатой доле человечества. А если тот общечеловеческий идеал, который у них есть, выработан *одним только* Западом, то можно ли назвать его настолько совершенным, что решительно всякий другой народ должен отказаться от попыток принести что-нибудь от себя в дело выработки совершенного человеческого идеала и ограничиться только пассивным усвоением себе идеала по западным книжкам? Нет, тогда только человечество и будет жить полною жизнью, когда всякий народ разовьется на своих началах и принесет от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую сторону. Может быть, тогда только и можно будет мечтать нам о полном общечеловеческом идеале. Иногда приходят нам в голову и такого рода мысли, что каждый, развиваясь при особых условиях, исключительно свойственных той стране, которую он заселяет, неизбежно образует свое мирозерцание, свой склад мысли, свои обычаи, свои уставы в общественной жизни... И думается, что если физически невозможно заставить народ отрешиться от всего им нажитого и выработанного в пользу, положим, и общечеловеческого идеала, только добытого в других странах, то неизбежно надобно обращать внимание на народность, если мы хотим какого-нибудь развития народу... Народные инстинкты слишком чутки ко всякому посягательству со стороны, потому что иногда рекомендуемое общечеловеческим как-то выходит никуда не годным в известной стране и только может замедлять развитие народа, к которому прилагается. Мы думаем, что всякому растению угрожает вырождение в стране, где недостает многих условий к его жизни. Даже казалось нам иногда, что это желание нивелировать всякий народ по одному раз навсегда определенному идеалу в основе слишком деспотично. Оно отказывается народам во всяком праве *саморазвития*, умственной *автономии*. А по поводу тысячелетия России в нынешнем году нам пришли в голову вот какого рода соображения. За тысячу лет хотя кое-какой, но все-таки исторической жизни мы нажили некоторый опыт... Запад приходил уже спасать нас в лице Петра и целые полтора столетия различными манерами принимался он благоустраивать нашу жизнь. Но что вышло из всех подобных предприятий? Если и сделали что-нибудь они для нас хорошего, так это именно то, что доказали нам, что есть *почва* у нас, что на нее в некоторых случаях должно обращать очень и очень большое внимание. Петровские реформы создали у нас своего

рода *statum in statu**. Они создали так называемое образованное общество, переставшее не квас пить, как уверяет «Современник», а вместе с квасом и мыслить о Руси, общество, часто изменявшее народным интересам, совершенно разобщенное с народной массой, мало того, ставшее во враждебное к ней отношение. И нужно было много трудов и времени, чтоб наконец в лучшей части этого оторванного от почвы общества пробудилась мысль о народе, о народном развитии, пробудилось сознание необходимости усвоения себе народных интересов и сближения с народом.

По тому самому, что теоретики отвергают существование всякой народности, они не понимают и того, что значит «сблизиться с народом». Они не могут понять того, что земство — самый нужный элемент в нашей русской жизни, не понимают, в чем должно состоять наше с ним сближение. «Мы ли к народу должны подойти, — говорит «Современник», — или он к нам?» — «Народ должен подойти к нам, или, лучше, мы должны подвести его к себе, потому что ведь в нас, собственно, витают общечеловечные идеалы, мы представители на Руси прогресса и цивилизации. А народ глуп, ничего до сих пор не выработал; среда народная бессмысленна, тупа». Но нам приходится иногда в голову, что народ не подойдет к нам прежде, нежели мы убавим у себя олимпийского величия, прежде чем сами подадим ему не на словах, а на деле руку. Ведь народ-то не сознает в нас нужды: *он будет крепок и без нас...* Он не исчахнет, как чахнем мы, не чувствуя под своими ногами точки опоры, не имея за своими плечами массы народа. Он тверд *сам собою...* Не крепки силами, безжизненны ведь, собственно, мы сами, имеющие честь называться образованным обществом. Нас убеждают согласиться в том, что народ — наше земство — глуп, потому что г-да Успенский и Писемский представляют мужика глупым...³ Вот, говорят, они не подступают к народу с какими-либо предзанятыми мыслями и глупого мужика — называют глупым. Но такие рассказы — вроде рассказа г-на Успенского «Обоз» — по нашему убеждению, составляют клевету на народ. И это ли не предзанятость взглядов? Ведь в них есть кое-какая задняя мысль, которая в иное время бывает слишком некстати. Тут не утешает нас даже и то соображение, представленное «Современником», что массы везде глупы, слишком *стадообразны* и во Франции, в Англии и Германии, что рутиниста глубоко засела в их голову и что во всем они поступают большею частью машинально. Так зачем же и хлопотать о массах, если они глупы, действуют машинально и т. п. Жаль только, что в этом случае теоретики не доводят своих заключений *до конца...*

* Государство в государстве (*лат.*). — Ред.

И знаете ли, читатель, нам всё кажется, что во взгляде этой фаланги теоретиков страшный аристократизм. Они как будто делают себя аристократией просвещения и центром, которого должно держаться наше земство... И это учение теоретиков не симптом ли — только симптом под другой формой — борьбы, так часто возникавшей в древней Руси, — боярства с земством? такой факт нельзя ли назвать некоторым посягательством на народ наших чиновных сословий?.. Впрочем, бог их знает...

Но есть и еще другая фаланга теоретиков, которая, ради последовательности, тоже отвергает очень и очень многое: разумею московских славянофилов, издающих теперь газету «День». В свое время славянофильство много сделало пользы для изучения быта нашего народа... Оно показало много сторон в русской жизни, указало значение земства в нашей истории и непосредственное его выражение — общинный быт⁴. Оно оказывает услуги нашей литературе даже и теперь. «День» издается только с 15 ноября прошлого года; но и в это короткое время он успел привлечь к себе внимание нашего читающего общества. И мы должны сказать, что недаром на «День» публика обратила внимание. В нем есть сила, которая невольно привлекает читателя на его сторону. Вы не можете не сочувствовать этому усиленному исканию «Днем» правды, этому глубокому, хотя иногда и несправедливому негодованию на ложь, фальшь. В едкости его отзыва о настоящем положении дел слышится какое-то порывание к свежему воздуху, слышно желание уничтожить те преграды, которые мешают русской жизни развиваться свободно и самостоятельно. В голосе «Дня» есть много честности.

Он хочет действовать в интересах нашего земства, ратует за его интересы, поэтому он с особенной силой отрицает современный строй общества... И его отрицание обращено большею частью на дело. Он не тратит даром силы, не стреляет в воздух, как это часто случается с дешевыми отрицателями, тоже своего рода поклонниками «искусства для искусства». «День» затрагивает самые существенные стороны нашей русской жизни. Его отрицание идет вглубь, поднимает, так сказать, самое *нутро* вопроса, а не расплывается в воздухе, не сражается с воображаемым злом, не донкихотствует. Поставляя выше всего, хотя и понимая по-своему интересы земства, он сказал такое живое и дельное слово о крестьянском деле и тесно связанном с ним вопросе дворянском⁵, о цензе, широко им понятном... Он поднял в интересах русской народности и польский вопрос, чрезвычайно важный при настоящих обстоятельствах... А ведь подобные вопросы для нас в настоящее время — вопросы плоти и крови. От того или другого их решения зависит вся наша будущность, весь ход русского прогресса и цивилизации. Разбирать, в частности, поднимаемые «Днем» вопросы

мы не будем, потому что они — чрезвычайно важные вопросы и стоят обстоятельнейшего обсуждения, чего мы не можем сделать в тесных границах одной критической статьи. О них нужно поговорить о каждом особо и немедленно, от чего мы отнюдь не уклоняемся. Прибавим еще, что голос «Дня» мы считаем очень важным и нужным в нашей литературе, особенно ввиду постоянно возникающих новых вопросов жизни. Если в решении иных мы и разойдемся с ним, то ведь чем больше будет по ним полемики, тем лучше. Но в интересе той же правды, которую хочет «День» найти на Руси, мы должны сказать, что беспощадное отрицание в иных случаях слишком беспощадно и потому несправедливо. Ратуя за русское земство, он несправедлив к нашему так называемому образованному обществу. Признавая жизнь только в народе, он готов отвергнуть всякую жизнь в литературе, обществе — мы тут разумеем лучшую часть его. В этом случае он большой ригорист. «Всё ложь, всё фальшь, — говорит он в одной передовой статье своей, — всё внутреннее развитие, вся жизнь общества, как проказой, заражены ею (то есть ложью). Ложь в просвещении.. Ложь в вдохновениях искусства... Ложь в литературе...»⁶. Мы понимаем, что этот голос может быть искренен; но очевидно также, что это голос фанатизма... «День» не хочет спуститься с своей допетровской высоты, презрительным взглядом окидывает настоящую русскую жизнь, лорнирует ее сквозь свое московское стеклышко и ничего-то не находит в ней такого, к чему он мог бы отнестись сочувственно...

Назад тому два месяца мы спрашивали у «Дня»:

Неужели мы в полтора ста лет хотя бы quasi-европейской жизни не вынесли ничего доброго и только внутренне развратились, изжились, потеряли всякие задатки жизни?⁷

Неужели Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Островский, Гоголь — всё, чем гордится наша литература, все имена, которые дали нам право на фактическое участие в общеевропейской жизни, всё, что свежило русскую жизнь и светило в ней, — всё это равняется нулю?

Неужели все это порывистое стремление литературы последних годов к прогрессу, к цивилизации, страстное желание сколько возможно улучшить русскую жизнь, это внимание к общественным вопросам в той мере, в какой позволяют внешние обстоятельства, неужели самое это глубокое недовольство современной жизнью — всё это нуль, ложь, фальшь?

Неужели общечеловечные элементы, проводником которых с Запада в русскую жизнь всегда по возможности была литература, — мы должны признать источником лжи и фальши, разъединяющей наше общество?..

Всё ложь, всё фальшь, повторяет нам «День». Вот в этом-то голосе мы узнаем московских славянофилов-теоретиков. И у них, как у запад-

ников, то же непонимание жизни, то же посягательство на нее, та же беспощадная последовательность. И тем более досадно на это поголовное обвинение в фальши всего общества, что ведь в нем скрывается глубочайшее противоречие «Дня» самому себе. Для чего, спрашивается, он издается? Конечно, для того, чтобы принести хотя какую-нибудь пользу обществу, чтоб указать ему путь к жизни, уничтожить, конечно, разъедающую его фальшь? Ведь не издавался бы «День», если б фальшь до того разъела наше общество, что в нем не осталось бы никаких задатков жизни? О мертвых заботиться много нечего; с безжизненным трупом хлопотать нужно не о том, чтоб его возвратить к жизни, а поскорей убрать его из человеческого жилья, чтоб не заразились от него и живые, здоровые... Зачем же хлопочет «День» о присуждении нашего общества к жизни, о возвращении к среде народной, если, по его мнению, всё в нем ложь и фальшь?

В том-то и беда теоретиков, что они или вовсе не хотят понимать, или плохо понимают жизнь... Нам припомнилась одна тирада из передовой статьи «Дня» против некоторых увлечений. Присвоивши себе право заявлять живой, сильный протест против лжи, фальши общества, он отрицает у молодости это же самое право. Преследуя то, что составляет мертвечину, хлопоча о жизни, он презирает молодую жизнь... Твердя о непочатых силах народных, о свежести и крепости его — славянофилы запрещают всякую деятельность молодым, крепким, в первый раз столкнувшимся с действительностью силам... Взывают к голосу народному, от народа, еще неискусившегося во зле, ожидают плодов, а молодому поколению, на которое возлагаются лучшие надежды общества, отказывают во всяком голосе... Если б «День» судил о вещах не по своему московскому идеальчику, не поверял бы жизнь теорией, а теорию — жизнью, он не напечатал бы статьи, которую мы всегда будем считать неизгладимым пятном на редакции⁸.

Самая отрицательная часть «Дня» теряет в наших глазах часть своей силы от одного следующего обстоятельства... Мы объясним свою мысль следующим примером. Представьте, что человек подошел к безобразной куче сору, где наряду с песком, лохмотьями зарыто много и драгоценностей. Он начинает перебирать кучу; он с силой отбрасывает лохмотья, песок, разную дрянь... Стоя в стороне, вы не можете не согласиться, что называемое им дрянью действительно дрянь; вы готовы даже удивляться меткости его приговоров... Но беда-то в том, что этот разметатель сору ищет не драгоценностей там, чтоб воспользоваться ими для себя, а старый, поношенный башмак. Вы удивляетесь, почему же это он ищет не того, чего по всем вашим предположениям ему нужно бы было искать... И вот вы видите, как та же беспощадная рука, которая отметала грязь, с тою же силою и едкою насмешкой

отбрасывает и то, что вы считаете золотом. Таким образом, пред вами разбрасывается песок, лохмотья, не во имя тех дорогих вещей, которые зарыты вместе с ними, а во имя старого, поношенного башмака... Тут уже невольно приходит в голову: правда ли, что поношенный башмак, из-за которого отвергается и дурное и хорошее, лучше самых лохмотьев в этой куче?.. И вы не можете не пожалеть, что *ослепление* человека не дает ему возможности видеть в куче дряни и хлама действительно хорошее... Это сравнение, кажется, может несколько быть применимо к «Дню». Отрицательная его сторона, как мы уже сказали, бесспорно — хороша... Но во имя чего он отрицает в нашей теперешней русской куче сору и хорошее и дурное?.. Мы сказали, что он ратует за интересы земства... Но значение его, условие жизненности этого начала он понимает по-своему. Он берет не земство — то здоровое, свободное земство, которое жило широкой жизнью в первые шесть веков нашего исторического быта, а берет за норму отношений земства к другим началам быта московский XVI и XVII века, когда централизация уже страшно посягнула на права и свободу земства. Одним словом, «День» отрицает теперешнюю жизнь во имя московской теории...

Но ведь она тоже кабинетное создание, плод мечты и пылкового воображения... Одним словом, она походит на старый, поношенный, хотя и не совсем еще стоптанный, башмак. В некоторых частях своих она годна еще к кое-какому употреблению, но ее нужно обновить чем-нибудь *новым*. Допетровская Русь привлекает к себе наше внимание, она дорога нам — но почему? Потому, что там видна целостность жизни, там, по-видимому, один господствует дух; тогда человек, не так, как теперь, чувствовал силу внутренних противоречий *самому себе* или, лучше сказать, вовсе не чувствовал; в той Руси, по-видимому, мир и тишина... Но в том-то и беда, что допетровская Русь и московский период только видимостью своею могут привлекать наше к себе внимание и сочувствие. А если повнимательней взглянуть в эту, по-видимому, чудную картину, в отдалении рисующуюся нашему воображению, мы найдем, что не всё то золото в ней, что блестит... Она потому и хороша, что вдалеке от нас, что ее показывают при *искусственном* освещении. Носмотря на нее вблизи, найдешь, что тут и краски слишком грубы, и фигуры аляповаты, и в целом что-то принужденное, натянутое, ложное... Действительно, лжи и фальши в допетровской Руси — особенно в московский период — было довольно... Ложь в общественных отношениях, в которых преобладало притворство, наружное смирение, рабство и т. п. Ложь в религиозности, под которой если и не таилось грубое безверие, то по крайней мере скрывались или апатия или ханжество. Ложь в семейных отношениях, унижавшая женщину до животного, считавшая ее за вещь, а не за личность... В допетровской, московской Руси было чрезвычайно много азиатского,

восточной лени, притворства, лжи. Этот квиетизм, унылое однообразие допетровской Руси указывают на какое-то внутреннее бессилие. Если московская жизнь хороша была, то, скажите, пожалуйста, что же заставило народ отвернуться от московского порядка вещей и повернуть в другую сторону? Одним словом, что произвело наш русский раскол? Ведь выходит, что нельзя сливать Москву с народом, нельзя московскую, допетровскую жизнь признавать за истинное, лучшее выражение жизни народной. «День» говорит, что в допетровской Руси были пороки только, а не ложь... Выражение слишком неопределенное... пороки в семейных и общественных отношениях... Да что же, спрашивается, после этого ложь? Не ложь ли производит и пороки, на малость которых нельзя пожаловаться в допетровской Руси?

И по этому-то московскому идеалу славянофилы хотят перестроить Русь... Для них всё наше развитие, положим небольшое, но все-таки развитие, какое у нас было со времен Петра, — всё это равняется нулю... Они ужасно бранят Петра за то, что, по выражению Аксакова, он заварил кашу слишком крутеньку⁹, а сами немного уступают ему в своей *крутости*. В них видна та же допетровская бесцеремонность с жизнью... Для славянофильства теория — такая же беспощадная, такая же скорая на всё, как и всякая другая... Нет, уж со времен Петра много воды утекло, и далеко зашла эта вода, и так ее много, что решительно нет никакой физической возможности поворотить ее назад или вовсе ее уничтожить <...>.

Так вот два лагеря теоретиков, из которых один отвергает в принципе народность и, следовательно, наше чисто народное начало — земство. Другой понимает значение нашего земства по-своему и, во имя своей теории, не отдает справедливости нашему образованному обществу. Те и другие, как видно, судят о жизни по теории и признают в ней и понимают только то, что не противоречит их исходной точке. А между тем часть истины есть в том и другом взгляде и без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?

Несомненно то, что реформа Петра оторвала одну часть народа от другой, главной. Реформа шла сверху вниз, а не снизу вверх. Дойти до нижних слоев народа реформа не успела. Оно, конечно, при тех реформаторских приемах, какие употреблял Петр, преобразование и не могло охватить весь народ: народ переделать очень трудно. Для этого мало железной воли одного человека. Развитие народа совершается веками, уничтожение добытого им может быть задачей тоже одних только веков... Вот в том-то и была ошибка Петра, что он захотел сразу — за свою одну жизнь — переменить нравы, обычаи, воззрения русского народа. Деспотизм реформаторских приемов возбуждал только реакции в массе; она тем крепче усиливалась сохранить себя от немцев,

чем сильнее последние посягали на ее народность. С другой стороны, мы чрезвычайно ошиблись бы, если б подумали, что реформа Петра принесла в нашу русскую среду главным образом общечеловеческие западные элементы. На первый раз у нас водворилась только страшнейшая распущенность нравов, немецкая бюрократия — чиновничество. Не чуя выгод от преобразования, не видя никакого фактического себе облегчения при новых порядках, народ чувствовал только страшный гнет, с болью на сердце переносил поругание того, что он привык считать с незапамятных времен своей святыней. Оттого в целом народ и остался таким же, каким был до реформы; если она какое имела на него влияние, то далеко не к выгоде его. Говоря таким образом, мы вовсе не думаем отрицать всякое общечеловеческое значение реформы Петра... Она, по прекрасному выражению Пушкина, прорубила нам окно в Европу, она *указала* нам на Запад, где можно было кой-чему поучиться. Но в том-то и дело, что она осталась не более как окном, из которого избранная публика смотрела на Запад и видела главным образом не то, что нужно бы было видеть, училась вовсе не тому, чему должна была там учиться... Оттого петровская реформа принесла характер измены нашей народности, нашему народному духу. Бывают такие времена в жизни народа, что в нем особенно чувствуется потребность выйти на свежий воздух, какое-то особенное недовольство настоящим, потребность чего-то нового. Несомненно, что в ближайшее время к Петру уже чувствовал народ *худобу* жизни, заявлял свой протест против действительности и пытался выйти на свежий воздух... Так мы, по крайней мере, понимаем исторический факт — наш раскол. Такое историческое явление, каков Петр, выросло на русской почве, конечно, не чудом каким. Оно подновлено, несомненно, временем... В русском воздухе носились уже задатки реформационной бури, и в Петре только сосредоточилось это пламеннейшее общее желание — дать новое направление нашей исторической жизни... Но характер всяких переходных эпох таков, что во время их чувствуется сильнейшее желание выйти из пошлого порядка вещей, но как выйти, куда идти, — плохо сознается и понимается... В том-то и была беда Петра, что желание Руси обновиться он понял по-своему, исполнял его тоже по-своему — деспотически прививал в жизнь не то, в чем она нуждалась. Поэтому Петра можно назвать народным явлением настолько, насколько он выражал в себе стремление народа обновиться, дать более простору жизни — но только до сих пор он и был народен... Выражаясь точней, одна *идея* Петра была народна. Но Петр как факт был в высшей степени антинароден... Во-первых, он изменил народному духу в деспотизме своих реформаторских приемов, сделав дело преобразования не делом всего народа, а делом *своего* только произвола. Деспотизм вовсе не в духе

русского народа... Он слишком миролюбив и любит добиваться своих целей путем мира, постепенно. А у Петра пылали костры и воздвигались эшафоты для людей, не сочувствовавших его преобразованиям... То самое, что реформа главным образом обращена была на внешность, было уже изменою народному духу... Русский народ не любит гоняться за внешностию: он больше всего ценит дух, мысль, *суть* дела. А преобразование было таково, что простиралось на его одежду, бороду и т. д. Народ и отрекся от своих доброжелателей-реформаторов, не потому, конечно, чтобы любил бороду, гонялся за одеждой, а потому, что такой преобразовательный прием был далеко не в его духе. И чем сильнее было на него посягательство сверху, тем сильнее он сплывался, сжимался. Борода и одежда сделалось чем-то вроде лозунга. Может быть, именно под влиянием подобных обстоятельств и сложилась в нашем мужике такая неподатливая, упорная, твердая натура. Как бы то ни было, только факт стал очевиден, что народ отрекся от своих реформаторов и пошел своей дорогой — врозь с путями высшего общества... Земство разошлось с служилыми сословиями. Последовавшие за петровской эпохой исторические обстоятельства только усиливали это раздвоение общества от массы народной. О народе — о главном — часто забывали, думали больше о самих себе. Бюрократия развивалась в ущерб народным интересам, давление сверху становилось тяжелей и тяжелей, возбуждая больший упор в народе. Крепостное право усиливалось, об образовании народа думали только немногие *горячие* головы. Сословный быт развивался в ущерб низшим классам. Высшие классы скоро утратили самый язык, на котором говорила масса. Чужестранный элемент развился в небывалых размерах, и пообстоятельствам, по общественному своему положению, владея материальной силой, старался забрать в свои руки чуждый ему народ. Интересы разошлись до того, что всякое искреннее сочувствие народным интересам, выходившее не из народной среды, принималось массой с недоверчивостью, даже с неудовольствием, потому что она не могла понять, каким это образом господа могут хлопотать о мужике: горькая действительность несколько раз убеждала его, сколько лжи и обмана, сколько узкого эгоизма и своекорыстия скрывается иногда под видимым участием. В точно таких же почти отношениях находятся и теперь эти две силы, разошедшиеся друг с другом очень давно. И теперь сколько разбивается самых лучших намерений в интересах народа, именно потому, что народ не верит в их искренность. Обвинять тут народ в невежестве, непонимании хорошего, ставить подобные вещи ему собственно в укор чрезвычайно недобросовестно. Согласитесь, что иногда наши ласки к народу только нам кажутся ласками, а зачастую, в сущности-то, они бывают медвежьими. Мы ведь, нужно говорить правду, не умеем подойти к народу. Уж в этом

отношении никогда нет середины. У нас или грубость такая, что просто из рук вон, или такая маниловщина, что беда да и только. Ну поймет ли нас народ, когда мы явимся к нему в лайковых перчатках и будем с простым мужиком обращаться на «вы»? Сами, конечно, виноваты. Зато редко, редко бывает, что народ верит нам и пользуется нашими советами. Из усердия к народным интересам мы являемся его советниками, например, по земледельческому его делу. Говорим ему устно и печатно, сочиняем нарочно для этой цели книжки. Но читает ли их народ, даже те, которые ему попадают случайно в руки? Слушает ли он наши наставления? Да! читает и слушает из простого любопытства, как о новых, прежде им неслыханных вещах, с такой же охотой читает, как и Еруслана Лазаревича. Но он и не думает применять наши наставления к делу, потому, дескать, это не наше дело, а барское, писаны книжки не для нас, а для господ. И не то чтоб он тут не понимал нас, а просто потому, что не верит нашим книжкам, нашему усердию в пользу его. — С трудом прививаются народной массе и нравственные и религиозные понятия людьми, которые не из ее среды. А посмотрите, с каким напряженным любопытством, с какою жадностью, лихорадочным вниманием безмолвная толпа слушает грамотного мужика. Факт, например, и то, что сколько ведь напускной лжи и двоедушия принимает на себя мужик пред нашими судами, как иногда усиленно ловит он случай стянуть из барского кармана лишнюю копейку. Между тем нередко этот лжец, двоедушный обманщик сам-то в себе честный человек, честный пред своей общиной, пред своим миром, и не подумает обмануть своего брата мужика или схитрить пред миром... Потому, видите ли, делаются тут дела так, что суд мира есть суд в высшей степени народный, обмануть *своего* считается бесчестьем. А к нашему брату он не чует никакой привязанности, нет у нас с ним общих, связывающих уз, нет общих интересов. Вот и кажемся мы народу в некотором роде татарами, нехристями, с которыми не грех обойтись помудреней, чем с своим братом. В нашем присутствии мужик уже вовсе не тот, каков он со своими: он стесняется, он официален, хочет казаться. До такой степени наше общество разъединилось с народом!

Вот почему нельзя говорить, что, дескать, зачем отделять высшее общество или, точнее выражаясь, образованное общество от массы народа. По идее-то оно выходит как будто и так, да и в сущности-то оно так. Только беда наша в том, что на практике народ отвергает нас. Это-то и обидно, этого то причины и должны мы доискаться. Родились мы на Руси, вскормлены и вспоены произведениями нашей родной земли, отцы и прадеды наши были русского происхождения. Но, на беду, всего этого слишком мало для того, чтобы получить от народа притяжательное местоимение «наш», и, конечно, самым лучшим благо-

честивым желанием передовых русских людей всегда будет настолько соединиться с народом, чтоб он не отделял образованных людей от себя и считал образованное общество своим. Но это будет задачей долгого времени, и блаженное время окончательного соединения оторванного теперь от почвы общества — еще впереди. До того же времени называть себя *de facto* народом, частью той массы, которая составляет наше крестьянство, земством — будет самообольщением. Ведь нельзя, например, не задуматься над тем, почему это мы не можем теперь найти язык, на котором могли бы искренно, сердечно беседовать с народом, почему это так сильно чуждается нас народ, так трудно нам, если только не невозможно, войти в дух, понятия и интересы народа; почему это инстинкт народный так упорно не хочет узнать в нас своих друзей? Конечно, такое явление происходит оттого, что мы разобщены с народом, что история вырыла между им и нами пропасть...

И снова повторяем, что невозможно обвинять народ в том, что он плохо понимает нас, что он не развит, что он чуждается нас... Опять скажем, что в неразвитости народа виноваты и мы сами. Отчего же мы целых полтора столетия забывали о нем, не хлопотали об его развитии, предоставили его самому себе на произвол судьбы — и судьбы тягостной. Можем ли мы после этого требовать от него нравственной развитости? Во-первых, сколько есть и между нами людей, которые по своим нравственным понятиям не только не стоят выше мужика, но даже гораздо его ниже. Где, как не в этом образованном обществе, скрывается *такая* подлейшая ложь, такой грубый обман, *такая* нравственная подлость, что ей и названья не найдешь? Образованная ложь всегда выражается в жизни циничнее; тем отвратительней становится она нравственному чувству человека, чем, по-видимому, толще покрыта лаком внешней образованности и прогрессивных понятий. Если бы вы взяли простого балалайщика с рынка и он не стал бы понимать, в чем заключается вся суть очаровательной гармонии Моцарта или Бетховена, стали бы вы на него претендовать? Чтоб понимать высшую гармонию звуков, для этого нужно иметь очень развитое ухо; на каком же основании станете вы требовать от полуразвитого уха совершенного пониманья высшей гармонии? Ведь это значило бы требовать от яблони апельсин. И то еще нужно заметить тут, что не всегда верны те наблюдения над простым народом, какие делаются, например, г-ми Успенским и Писемским. Наблюдение над нашим простым мужиком делается, как известно, чрезвычайно поверхностно; глубь-то его душевная упускается, о ней часто и не знают те, которые, по-видимому, вблизи изучают народ, и это опять потому, что мужик не любит весь раскрываться пред господами. Оттого недоверие к бесчестности, глупости мужика, не только не бесполезно, а даже обязательно. Жаль только, что наши

скептики, прилагающие свое отрицание ко всему, не употребляют его в дело на указанном нами пункте.

И от этого раздвоения народа страшно страдают обе его части. Отсутствие общих пунктов у высшего общества с низшим; противоположность интересов, созданная историческими обстоятельствами, заставляет его относиться враждебно к народу. Народу некогда идти вперед, потому что при настоящих отношениях к высшему обществу у него хватает времени только на отстаивание того, что у него есть. Предоставленный самому себе, он коснеет в невежестве, совершенно лишен всякого участия в тех общечеловеческих результатах европейской цивилизации, которыми, впрочем, только в некоторой мере владеет образованное общество. Он и прозвал себя горемыкой, потому что сам-то по себе находит весьма трудным выйти из того незавидного положения, в какое поставили его исторические обстоятельства. Редко, редко находит он себе вождей, которые указывают ему новые пути, собирают в одно его разрозненные, рассеянные силы и мощно двигают их к одной цели. И сколько тут пропадает силы! Эта тучная, могущая быть плодovитейшею земля должна лежать если не совсем впусте, то приносить вовсе не те плоды, какие могла бы приносить...

От разрыва с народом страдают и высшие классы. Их силы сравнительно с силами народа — чрезвычайно малы, если не ничтожны.

Разрозненные с народом высшие классы не подновляются новыми силами — оттого чахнут, ничего не вырабатывают. Не имея твердой точки опоры, они не имеют впереди ясно поставленной и точно обозначенной цели. Оттого их существование принимает какой-то бесцельный характер. Не сливая своего дела с земским делом, они по необходимости должны были поставить впереди себя только узкие цели. Оттого все лучшие порывы вперед нашего общества неизбежно отпечатлеваются каким-то характером безжизненности, чахлости... Говорят, что у нас в России не привилась наука... именно потому и не привилась, что страна располагает в пользу ее слишком малыми свежими силами. А между тем сколько сил хранится в этих сорока миллионах людей, которые чужды вовсе науки, даже не слыхали о ней. Сколько бы могло быть даровитейших тружеников науки, если бы вся эта масса была призвана к жизни, если бы открыты были двери для талантов, таящихся в ней... Без соединения с народом никогда, пожалуй, не удадутся высшим классам и попытки улучшить общественный быт страны. Самая сфера мысли образованного нашего общества приняла характер какой-то условности, потому что в нее не вносятся новых, свежих мыслей из массы народной, потому что не являются на умственную арену новые, свежие бойцы. И только тогда у нас явится и прочно установится наука, когда она будет достоянием не одного или нескольких привилегированных

сословий, а всей массы народа... Тогда только выработается именно тот общественный быт наш, такой именно, какой нужен нам, когда высшие классы будут опираться не на одних только самих себя, а и на народ; тогда только может прекратиться эта поразительная чахлость и безжизненность нашей общественной жизни.

И вот когда у нас будет не на словах только, а на деле один народ, когда мы скажем о себе заодно с народной массой — мы, тогда прогресс наш не будет идти таким медленным прерывистым шагом, каким он идет теперь. Ведь тогда только и можем мы хлопотать об общечеловеческом, когда разовьем в себе национальное... Прежде чем понять общечеловеческие интересы, надобно усвоить себе хорошо национальные, потому что после тщательного только изучения национальных интересов будешь всостоянии отличать и понимать чисто общечеловеческий интерес. Прежде чем хлопотать об ограждении интересов всего человечества во всем мире, — нужно стараться оградить их у себя дома. А то может случиться, что за всё возьмемся и нигде не успеем. Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов. Судьба распределила между ними задачи: развить ту или другую сторону общего человека... только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего матерьяльного состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет, потому что в основе каждой народности лежит один общий человеческий идеал, только оттененный местными красками. Потому между народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко, и народы ищут своей славы только в пустом первенстве пред своими соседями. Разные народы, разрабатывающие общечеловеческие задачи, можно сравнить с специалистами науки; каждый из них специально занимается своим предметом, к которому, предпочтительно пред другими, чувствует особенную охоту. Но ведь все они имеют в виду одну общую науку. И отчего наука всего более идет в широту и глубь, как не от специализации ее предметов и частной разработки их отдельными личностями?

Таким образом, собственные наши интересы и интересы человечества требуют, чтоб мы возвратились самым делом на почву народности, соединились с нашим земством. Но теоретики опять задают вопрос, в чем же должно состоять это сближение с народом? Чтобы не распространяться об этом предмете много, мы скажем коротко, что для сближения с народом образованных классов нужно:

1) Распространить в народе грамотность. Народ наш беден и голодает вовсе не оттого, чтоб у него мало было средств к добыванию насущного хлеба. Земли у нас много, заработка не трудна, по недостатку рабочих рук. Народ оттого беден и голоден, что невысок у него, по особым обстоятельствам, нравственный уровень, что он не умеет извлекать для себя пользу из тех огромных естественных богатств, какие у него под рукой. Значит, прежде всего нужно позаботиться об его умственном развитии.

2) Облегчить общественное положение нашего мужика уничтожением сословных перегородок, которые заграждают для него доступ во многие места. Средство это стоит в тесной связи с вопросом о сословных правах и привилегиях.

3) Для сближения с народом нужно несколько преобразоваться нравственно и нам самим. Нам нужно отказаться от наших сословных предрассудков и эгоистических взглядов. Народу тяжелы наши кулаки, которые когда-то были так в моде, да он не терпит и оскорбительной для него французской вежливости. Нужно полюбить народ, но любовью вовсе не кабинетною, сентиментальною.

Да! нужно открыть двери и для народа, дать свободный простор его свежим силам. Так мы понимаем сближение с народом. Читатели видят, что оно вовсе не фраза, пустое слово, а имеет большое значение в теперешней нашей общественной жизни.

Но в том-то и дело, скажут нам скептики, что мы и народ не способны ни к какому лучшему будущему. За целую тысячу лет своей исторической жизни ничего не сделали ни мы сами, ни народ. Применяя к Руси известную мысль Монтескье — всякий народ достоин своей участи¹⁰, что можем сказать хорошего о нас и этом народе, который и т. д.? Об этом вопросе мы скажем следующее:

Во-первых, на что указывает нам русский раскол?.. Замечательно, что ни славянофилы, ни западники не могут как должно оценить такого крупного явления в нашей исторической жизни. Это, конечно, происходит оттого, что они теоретики. По их теории действительно не выходит, чтоб в расколе было что-нибудь хорошее. Славянофилы, лелея в душе один только московский идеал Руси православной, не могут ссочувствием отнестись к народу, изменившему православия. Западники, судя об исторических явлениях русской жизни по немецким и французским книжкам, видят в расколе только одно русское самодурство, факт невежества русского, гнавшегося за сугубым аллилуйя, двуперстным знаменем и т. д. Они не поняли в этом странном отрицании страстного стремления к истине, глубокого недовольства действительностию. Оно и неудивительно, потому что, судя о вещах по теории, легко закрыть глаза на многое, легко напустить на себя своего рода ослепление. И этот факт русской дури и невежества, по нашему мнению, самое крупное

явление в русской жизни и самый лучший залог надежды на лучшее будущее в русской жизни.

Во-вторых, скептики забывают, что народ удержал до сих пор, при всех неблагоприятных обстоятельствах, *общинный быт*, что, не зная начал западной ассоциации, он имел уже *артель*. Западные публицисты после долгих поисков наконец остановились на ассоциации и в ней видят спасение труда от деспотизма капитала. Но в западной жизни это общинное начало еще не вошло в жизнь; ему ход будет только в будущем... На Руси оно существует уже как данное жизнью и ждет только благоприятных условий к своему большему развитию. А главным образом тут должно обратить внимание на то, с каким упорством народ отстаивал целые века свое общественное устройство и все-таки отстоял... Что ж это за явление, как не доказательство того, что народ наш способен к политической жизни?

В-третьих, посмотрите, какой иногда такт в суждении, какая зрелая практичность ума, меткость в слове проявляется в этом народе, который не имеет никакой юридической подготовки, не знает римского права. Законоположение 19 февраля вызвало народ к жизни, поставило его в новые условия, — и он вовсе не оказался неспособным обсуживать свое новое положение... Если вы следили за крестьянским делом, вы не можете не согласиться, что в фактах его проявляется не одно только невежество и глупость...

Да наконец, хотя бы эта способность самоосуждения, которая проявляется на Руси с такой беспощадно-страшной силой, не доказывает ли, что самоосуждающие способны к жизни? Не в русском характере иметь такой узкий национальный эгоизм, какой нередко встретить можно у англичанина, у немца, у француза. Так ли народ наш привержен к своим обычаям, поверьям, своему быту, как, например, англичанин к своим учреждениям. Не потому русский народ слишком крепко держится *своего*, что оно свое, а потому, что он не слышал ничего лучшего, потому что все другое, рекомендованное ему со стороны, он нашел худшим. Он потому и держится своего, что оно лучшим ему кажется из всего, что он слышал и видал. А вот посмотрите, с какой настойчивостью отстаивает англичанин свои университеты, хотя и сознает, что их устройство далеко расходится с современными понятиями. Ему дорог английский метод воспитания и образования не потому, чтобы он считал его лучшим из всего, что он знает в этом отношении, а потому, что это *свое*. Или посмотрите на ту сальную иногда сентиментальность, с какою немец рассуждает о своей полиции или своих Rath'ax*, и о превосходстве немецкой нации пред другими.

* Советниках (нем.). — Ред.

Вот француз, который постоянно толкует о славе нации, о своих национальных учреждениях, о военных своих подвигах, потому только, что, заговори он иначе, он изменил бы своей *славной* нации. Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя, иногда даже он несправедлив к самому себе, — во имя негодующей любви к правде, истине. С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрина и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительнейшая литература времен очаковских и покоренья Крыма¹¹.

И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни. Не та болезнь опасна, которая на виду у всех, которой причины все знают, а та, которая кроется глубоко внутри, которая еще не вышла наружу и которая тем сильней портит организм, чем, по неведению, долее она остается непримеченною. Так и в обществе... Сила самоосуждения прежде всего — сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни — предполагает страстную тоску о здоровье.

И неужели отрицание наше кончится только одним разрушением? Неужели на месте полуразрушенных зданий ничего не воздвигнется и это место останется пустым пожарищем?.. Неужели мы настолько задохнулись, настолько замерли, что нет надежды на наше оживление? Но если в нас замерла жизнь, то она, несомненно, есть в нетронутой еще народной почве... это святое наше убеждение.

Мы признаем в народе много недостатков, но никогда не согласимся с одним лагерем теоретиков, что народ непроходимо глуп, ничего не сделал в тысячу лет своей жизни, не согласимся, потому что излишний ригоризм нигде не уместен... Если друзья будут о нем такого мнения, то что же останется для его недоброжелателей?

